

Надежда Тэффи

Лешачиха



*Часть сборника
Водьма (сборник)*



Надежда Тэффи

Лешачиха

«Public Domain»

Тэффи Н.

Лешачиха / Н. Тэффи — «Public Domain»,

«Это очень страшное слово – «лешачиха». Я его потом, пожалуй, ни разу и не слышала. А тогда, в раннем моем детстве, познакомилась я с этим словом в связи с очень таинственной историей, каких больше на свете вовсе не бывает. Об этой истории и хочу рассказать...»

Содержание

Надежда Тэффи Лешачиха

Это очень страшное слово – «лешачиха».

Я его потом, пожалуй, ни разу и не слышала.

А тогда, в раннем моем детстве, познакомилась я с этим словом в связи с очень таинственной историей, каких больше на свете вовсе не бывает.

Об этой истории и хочу рассказать.

В те времена проводили мы всегда лето в Волынской губернии, в имении моей матери.

Знакомых там у нас было мало, потому что окрестные помещики были все поляки, держались особняком, да и между собою они, кажется, не очень приятельски жили, а все больше друг перед другом «пыжились» – кто, мол, богаче да кто знатнее.

Но один из соседей – старый граф И. изредка к нам заглядывал, так как встречался когда-то с моей матерью на заграничных водах.

Графа И. помню хорошо.

Был он огромного роста, худой, с совершенно белыми усами. Был ли он лыс – не знаю, потому что макушки его, хотя бы он сидел, а я стояла, – все равно увидеть не могла: мне было в ту пору не больше шести лет.

Но одна деталь из его внешности врезалась в мою память, потому что уж очень поразила: на мизинце его левой руки – большой, белой и костлявой – красовался твердый желтоватый ноготь совершенно невероятной длины. Этот ноготь вызывал много разговоров у нас в детской.

– Сколько лет нужно, чтобы вырастить такой ноготь? – Кто говорил два, кто двадцать, а кто-то даже решил, что не меньше семидесяти, хотя самому-то графу было не больше шестидесяти, так что выходило, что граф моложе своего ногтя на десять лет.

Брат клятвенно уверял, что может, если захочет, вырастить себе такой ноготь в четыре дня.

– Ну так захоти! Ну так захоти! – хором кричали младшие.

Но он захотеть не хотел.

Взрослые тоже говорил о ногте. Говорили, что это было модно в шестидесятых годах.

Граф был вдовый и у себя никого не принимал, но, проезжая мимо его усадьбы, мы часто любовались красивым старинным домом и чудесным парком с маленьким причудливым прудом.

Посреди пруда зеленел круглый насыпной островок, соединенный с берегом призрачным цепным мостиком. И вокруг островка волшебного тихо плавал задумчивый лебедь.

И никогда ни души не было видно ни в парке, ни около дома. А между тем граф жил не один. С ним была его младшая дочь, тогда еще подросток, лет пятнадцати. Я как-то видела ее в костеле, куда наша гувернантка-католичка иногда брала нас с собой.

Молодая графиня была довольно красивая, но грубоватая и вся какая-то неладная. Чересчур белое и румяное лицо, чересчур густые брови, чересчур черные, почти синие волосы. Маска.

Такою представлялась мне злая царица, которая в сказке спрашивала у зеркальца, есть ли на свете «кто милее, кто румяней и белее?».

Одета она была просто и некрасиво.

А потом как-то привез ее граф к нам в гости, принаряженную в белое кисейное платье с ярко-синими бантиками, в завитых локонах и белых перчатках. Сидела она все время очень чопорно, рядом с отцом, опустив глаза, и только изредка взглядывала на него с выражением злобным и насмешливым.

Ну вот, мол, вырядилась и сию. Ну, еще что выдумаешь?

На вопросы отвечала «да» и «нет». За обедом ничего не ела.

Вечером старый граф, переговорив о чем-то очень долго и таинственно с моей матерью, стал прощаться. Дочь его радостно вскочила с места, но он остановил ее:

– Ты будешь сегодня здесь ночевать, Ядя. Я хочу, чтобы ты поближе познакомилась со своими новыми подругами.

Он любезно улыбнулся в сторону моих старших сестер.

Ядя остановилась, пораженная. Лицо ее стало темно-малиновым, ноздри раздулись, глаза остановились. Она молча смотрела на отца.

Тот на минутку замялся, видимо очень смутился, а может быть, даже испугался чего-то.

– Завтра утром я заеду за тобой, – сказал он, стараясь не глядеть на нее. И прибавил польски: – Веди себя прилично, чтобы мне не было за тебя стыдно.

Все вышли на крыльцо провожать графа.

Как только его коляска, запряженная четверкой цугом, отъехала от подъезда, Ядя, повернувшись спиной к старшим сестрам, быстро схватила за руки меня и пятилетнюю Лену и побежала в сад.

Я, изрядно испуганная, еле поспевала. Лена спотыкалась, сопела и готовилась зареветь.

Забежав далеко, в самую чащу сада, она выпустила наши руки и сказала по-французски:

– Стойте смирно!

Схватила за сук и полезла на дерево.

Мы смотрели в ужасе, едва дыша.

Забравшись довольно высоко, она обхватила ствол ногами и стала сползать на землю. Куски кисеи повисли на шершавой коре, посыпались голубые бантики...

– Гоп!

И прыгнула.

Вся красная, радостная, злобная, трепала она лохмотья своего платья и говорила:

– Ага! Он хочет везти меня в этом платье еще к Мюнчинским – ну так вот ему! вот ему!

Потом взглянула на нас, расхохоталась, погрозила пальцем:

– Стойте смирно, глупые лягушки! Я голодна.

Она подошла к вишневному дереву и стала отгрызать от ветки клей. Потом сорвала с липы четыре листка, поплевала на них и налепила нам на щеки.

– Теперь идите домой и не смейте снимать, так и спать ложитесь с листочками. Слышите? Лягушки!

Мы схватились за руки и побежали что было духу, придерживая листочки, чтобы не свалились. Очень уж нас эта странная девочка напугала.

Дома мы ревели, нянька нас мыла, сестры хохотали. Должно быть действительно вид у нас был дурацкий, испуганный и заплаканный.

– Зачем же листочки не бросили?

– Да она не ве-ле-е-е-ла!

Вскоре пришла из сада и Ядя. Шла гордо, придерживая рукой лохмы своего платья. Ложась спать, раздеваться отказалась, сняла только башмаки и повернулась к стене.

Мама говорила сестрам:

– Не обращайтесь внимания на ее фокусы. Это она, вероятно, из патриотизма не хочет ни есть, ни разговаривать в русской семье. Совсем дикая девочка, ни одна гувернантка не в силах с ней справиться. Старик надеялся, что она с вами подружится...

В шесть часов утра прискакал от графа нарочный с письмом, в котором граф умолял простить его за причиненные неприятности и не волноваться, потому что дочь его уже благополучно вернулась домой.

Кинулись в угловую, где Ядя ночевала: постель пуста, окно настежь. Оказывается, ночью сбежала домой. А ведь до их усадьбы было не меньше десяти верст!

После завтрака приехал старый И. Очень извинялся и, по-видимому, был страшно расстроен.

У нас все, конечно, делали вид, что выходка его дочки очень мила и забавна, и просили расцеловать «*cette char-mante petite sauvage*».¹ Но потом долго возмущались.

А графа и его буйную девицу не видали мы после этого года четыре и встретились как раз, когда началась дикая история, о которой я, собственно, и хочу рассказать.

Возвращались мы с какой-то поездки. Ехали через графский лес.

Лес был густой, совсем дремучий, шумели в нем среди лип, дубов и берез и высокие ели, что в этих краях довольно редко.

– Гу-гу-гу! – закричало из чащи.

– У-у-у! – ответило эхо.

– Это что же – сова? – спросили мы у кучера. Он, не отвечая, мотнул головой и стегнул лошадей.

– Гу-гу-гу!

– У-у-у!

– Это, верно, разбойники... – шепнула сестра. – Или волки...

Всегда у русских детей какой-то страх в лесу. Такое «гу-гу-гу» где-нибудь на лужайке или на поле не произвело бы никакого впечатления, а в лесу – страшно. Лес «темный» не только по цвету своему, но и по тайным силам.

В лесу для детей живет волк. Не тот волк, за которым гоняются охотники, похожий на поджарую собаку с распухшей шеей, а могущественное существо, лесной хозяин, говорящий человеческим голосом, проглатывающий живую бабушку. Узнают о его существовании по сказкам раньше, чем видят на картинках, и поэтому представляется он детскому воображению таким неистовым чудовищем, какого потом за всю жизнь не увидишь на нашей скудной земле.

Одна крошечная девочка спрашивала у меня:

– А как железная дорога ночью ходит? Как же она не боится?

– Чего?

– А вдруг встретит волка?

Так вот, это «гу-гу-гу» в темной глубине леса испугало нас. Конечно, мы понимали, что волки тут ни при чем, да и разбойникам, пожалуй, кричать незачем. Но было что-то злое-незвериное в этом крике.

А кучер молчал, и уж только когда мы выехали на луговину, повернулся и сказал:

– Лешачиха кричит.

Мы удивленно переглянулись.

– Это, верно, здесь так называют какую-нибудь породу сов.

Но кучер повернулся снова и сказал строго:

– Не совиной она породы, а графской. И опять прибавил:

– Лешачиха.

Мы молчали, ничего не понимая, и он заговорил снова:

– Графская панночка, грабянка, дочка. Когда старый граф на охоту идет, она ему со всего лесу дичину гонит. Тогда она по-другому кричит. А сегодня, значит, одна гуляет. Нехорошо у них!

Что нехорошо и почему она кричит – ничего мы не разобрали, а стало как-то жутко.

– Это что же – та самая дикая Ядя, которая у нас ночевала?

– Очевидно, она. Чего же она кричит?

Рассказали дома необычайное это событие. Старая ключница засмеялась.

¹ «Эту маленькую дикарку» (фр.).

– Ага! Лешачиху слышали! Наша Гапка работала у них на огороде, пошла на пруд с ведром. Стала воду черпать, а за кустом кто-то, слышно, плещет. Взглянула – а это панночка купается, и вся она до пояса в шерсти, как собака. Гапка как крикнет и ведро упустила. А Лешачиха прыг в воду да и сгнула. Видно, на самое дно ушла.

Разыскали Гапку. Она как будто была испугана, что мы все знаем. Отвечала сбивчиво. Верно, все наврала, а теперь не знала, как и быть.

Ввиду всего этого стали много говорить о дикой графине. Местные люди рассказывали, что она болезненно любила своего отца, а он ее не очень. Должно быть, стыдился, что она такая неладная...

А вскоре объявился у нас и сам граф.

Приехал в своей коляске на четверке цугом и привез целых двух дочек: Ядю и другую, старшую, Элеонору, о которой мы и не знали. Воспитывалась она, оказывается, в Швейцарии, потому что с детства была туберкулезная и дома держать ее было нельзя.

Эта другая дочка была совсем другого ладу. Очень тоненькая, бледная, сутулая, в пепельных локонах, лицом похожая на графа, манерами томная, одетая по-заграничному.

Наша Ядя явилась в каком-то диком платье из скверного желтого шелка, очевидно, работы местечковой портнихи. За эти четыре года разрослась она в дюжую девку, брови у нее соединились в прямую черту и на верхней губе зачернелись усики.

Граф, видимо, гордился своей старшей. Звал ее ласково «Нюня», смотрел на нее любовно, даже как-то кокетливо. Рассказывал, как он ожил с ее приездом, что целые дни они вместе читают, гуляют и что больше он ее от себя уже не отпустит.

Ядя сидела мрачная и очень беспокойная. Краснела пятнами, молчала и только перебивала, когда сестра ее хотела что-нибудь сказать.

Мне эта «Нюня» не особенно понравилась. Было в ней что-то фальшивое, и уж очень ясно показывала она свое презрение к младшей сестре. Мне было как-то жалко бедную Лешачиху.

Я сидела тихо, пряталась за спинку кресла и глаз с нее не сводила. Все думала, как она так гукает в черном лесу, как зверей загоняет. Страшная она была для меня до того, что прямо сердце колотилось, а вот вместе с тем и жалко ее. Точно какой-то страшный зверь, подстреленный, корчится.

На нее в гостиной мало обращали внимания. Может быть, даже считали, что тактичнее не замечать ее угловатых манер и вульгарного платья. Да и вступить с ней в беседу было трудновато. Ну как заговоришь в светском тоне с усатой девицей, которая, как леший, по лесу шатается и людей пугает.

И все занялись Нюней, ахали, какая Нюня очаровательная и, главное, как она похожа на отца.

И вдруг Лешачиха вскочила и закричала:

– Неправда! Она совсем не похожа. Она горбатая, а мы с папой прямые и здоровые.

Она быстро ухватила рукой локоны сестры, приподняла их, открыла ее сутулые, кривые плечи. И захохотала, захлебываясь.

Нюня слегка покраснела и освободила свои волосы из рук Лешачихи. Но ничего не сказала, только поджала губы.

Зато старый граф расстроился ужасно. Он так растерялся, что на него жалко было смотреть. Мне казалось, что он сейчас расплчется.

Конечно, все сразу заговорили громко и оживленно, как всегда бывает, когда хотят загладить неприятный момент.

Граф, как светский человек, сам быстро справился со своим волнением и стал рассказывать, как хочет развлекать свою заграничную гостью, завести знакомства, устроить теннис, организовать пикники и охоту. Нежной Нюне нужен спорт, конечно, умеренный, и, главное, развлечение.

Лешачиха после своей дикой вспышки вдруг увяла и как будто даже не слушала, о чем говорят.

Только когда они уезжали, разыгралась маленькая сцена: Ядя быстро, прежде отца, прыгнула в коляску и заняла парадное место. За ней влезла Нюня и, поджав губы, демонстративно села на переднюю скамеечку. Тогда отец взял Нюню ласково за плечи и пересадил рядом с Ядей, а сам сел напротив. Ядя вскочила и села рядом с отцом. И лицо у нее было несчастное и совсем безумное.

* * *

Старшие мои сестры были приглашены к графу на первый прием, на завтрак в следующее воскресенье, то есть через неделю после описанного визита.

Мы весело фантазировали насчет этого завтрака.

– Воображаю, что там натворит Лешачиха!

– Страшная Лешачиха! Наверное, Нюня заставит ее усы сбрить.

– А она такая злющая, что назло к воскресенью бороду отпустит.

Нас, маленьких, на завтрак не брали, и мы особенно изощрялись:

– Поезжайте, поезжайте! Накормит вас Лешачиха еловыми шишками.

– На щеки вам поплюет и листики приклеит!

И вдруг за два дня до назначенного празднества приходит страшная весть: неожиданно скончалась Нюня, графиня Элеонора, старшая дочь графа.

Умерла она странной смертью – убита в лесу деревом.

Прислуга уже знала об этом событии и толковала между собой, и все слышали мы слово: «Лешачиха, Лешачиха».

При чем тут Лешачиха?

Узнали подробности: Нюня, никогда из парка не уходившая и вообще мало гулявшая, вдруг как-то утром сказала отцу, что читать ему вслух сейчас не может, потому что непременно должна пойти в лес. И как-то при этом, как рассказывал потом граф, ужасно нервничала и торопилась.

Ушла и пропала, и к обеду не вернулась. К вечеру нашел ее конюх. Лежала, придавленная огромным деревом. Закрыло ее всю стволот-махиной, одни ножки увидел конюх. Потом дерево канатом подымали.

– Лешачиха, Лешачиха! – шепталась графская челядь. А при чем тут Лешачиха – никто и объяснить не мог.

Она, говорят, как раз в этот день хворала и даже из дому не выходила. Да и глупо же все это! Если бы даже она и была в лесу, так не могла же она свалить дерево, которое потом десять мужиков еле канатами оттащили.

Такая, видно, судьба была у бедной Нюни.

На похоронах видели Лешачиху. Она была тихая и все время держала графа за руку.

История эта, пожалуй, и забылась бы, если бы года через два не случилась другая, от которой эта первая сделалась еще страшнее, и гибель несчастной Нюни оказалась гораздо загадочнее и таинственнее, чем трезвые и благоразумные люди могли ее считать.

И не будь второй истории, пожалуй, и рассказывать обо всем этом не стоило бы.

Так вот что случилось через два года.

За эти два года мы как-то о Лешачихе позабыли.

Граф не показывался, и ничего нового слышно не было.

И вот, появилось в наших краях существо, о котором заговорили сразу все.

Один из окрестных помещиков пригласил к себе нового управляющего, а у управляющего этого оказалась молоденькая дочка нечеловеческой красоты.

Каждый, конечно, описывал ее по-своему. Наша ключница, видевшая ее в костеле, изливала свой восторг в следующих выражениях:

– Ой, смотрю на нее и думаю – ой, сейчас я лопну. Глазки у нее как тютельки и так и мильгочут. Черты лица чистоплотные, стоит и улыбается, как птичка.

Жена нашего управляющего, особа томная, воспитанная в Проскурове, сказала:

– Она, конечно, недурна, но еще слишком молода. Вот посмотрите лет через тридцать, что из нее выйдет – тогда и судите.

Вечный студент, репетитор брата, бегавший тайно каждое воскресенье в костел (не в силу религиозных потребностей), на вопрос ответил, густо покраснев:

– Как сказать... Она, по-видимому, вполне сознательная личность.

И вот в эту сознательную личность влюбился старый граф.

Мы еще не знали, что он влюблен, когда он, после двухлетнего перерыва, вдруг неожиданно приехал к нам вечером один и был такой странный, какой-то восторженный, с потемневшими счастливыми глазами. Разговаривал только с молодежью, попросил сестру спеть.

Сестра спела романс на слова Алексея Толстого «Не умею высказать, как тебя люблю».

Он пришел в какой-то болезненный восторг, заставил несколько раз повторить последнюю фразу, потом сам сел за рояль и сыграл, чуть-чуть напевая, старинный романс: «Si vous sçoyez»²...

Он так очаровательно, грустно и нежно улыбаясь, полупел, полудекламиривал, что привел в восторг не только молодежь, но и взрослых.

– Какой оказался интересный человек! Кто бы подумал!

– А мы-то столько лет считали его старым сухарем с длинным ногтем. Вот вам и ноготь!

– Какой обаятельный!

– Какой очаровательный!

И долго потом завывали на разные голоса пропетый им романс:

«Que je l'adore, et qu'elle est blonde
Comme les bles».³

Особенно сильное впечатление произвел граф именно своим романсом на мою кузину, только что окончившую институт. Она была блондинка и поэтому «blonde comme les bles» отнесла на свой счет. Дней пять после знаменательного вечера пребывала она в сладкой и трепетной меланхолии, ела только яблоки и ходила, распустив волосы, гулять при луне.

Все благополучно разрешилось насморком.

Мы с младшей сестрой, несмотря на свой одиннадцати-девятилетний возраст, тоже оказались не чужды влиянию романтических черт. И, чтобы как-нибудь излить свои чувства, побежали в сад, нарвали роз и запихали их графу в зонтик.

– Пойдет дождь, откроет граф зонтик, и вдруг – целый каскад роз посыплется ему на голову!

Пожалуй, одна наша нянюшка осталась к нему холодна:

– Длинный со всего лесу. На таких коров вешать. – Определение было загадочное, но явно не восторженное.

Ключница, подслушивавшая из буфетной, и прачка – у дверей из коридора – разделяли общий восторг.

Конечно, на другой день только и было разговоров что про графа. И тут-то и узналось, что он влюблен.

² «Если вы верите...» (фр.).

³ «Как я ее обожаю, и как ее белокурые волосы напоминают пшеницу» (фр.).

Первые узнали, конечно, мы, младшие – в детской.

Мы всегда первые узнавали именно то, что от нас полагалось скрывать: что горничная хочет выйти за кучера, что от управляющего два раза сбегала жена и на кого пялит глаза дочь садовника. Обыкновенно вечером, когда мы укладывались спать, забегала к няньке ключница и начинала свистящим шепотом рассказывать новости дня.

Нянька, надо отдать справедливость, всегда строго и педагогично говорила нам:

– Ну, вы... нечего вам тут слушать! Это детям совсем не годится.

Тогда мы затихали и придвигались поближе.

Вот таким образом узнали мы о том, что старый граф влюблен в молоденькую красавицу Янину. Что все видят, как он в костеле на нее смотрит, и все знают, что каждое утро графский верховой отвозит Янине огромный букет.

– Откуда они узнают такие вещи! – охали взрослые, когда мы, волнуясь и перебивая друг друга, рассказывали потрясающую новость.

Они, впрочем, притворялись, что сами давно все знают, и нам запретили повторять этот вздор.

Мы-то его больше не повторяли, но зато они сами уже от этой темы не отходили.

– Граф влюблен!

– Женится?

– Обольстит и бросит?

– Нет, этого не может быть! Слишком уж открыто ведет он свое дело...

И вот новое событие: граф ездил в карете четверкой цугом с визитом к управляющему. Наш садовник все видел собственными глазами.

– Вот как я вас, нянечка, вижу, – свистел шепот ключницы. – Так, говорит, близко проехал, что аж грязью на штанину брызгнуло. Он и грязь мне показывал. Все верно. Граф женится.

И еще новость – ездил граф к ксендзу.

А потом кто-то видел, как мужики чистили графский пруд. И это относили к непременно признакам свадьбы.

Потом кто-то графу намекнул, и граф не отрицал, а даже, говорят, улыбался.

И – странное дело – все абсолютно забыли про Лешачиху. Она, положим, никуда все это время не показывалась, но все-таки никто даже никаких предположений не высказывал, как, мол, она может отнестись к такому событию. У Лешачихи и вдруг – мачеха, да еще такая нежная, что «улыбается, как птичечка».

И вдруг – странная весть. Сначала даже не поверили. Но все подтвердилось. Пошел утром граф на охоту, взял с собой камердинера. Он часто так ходил, не столько для того, чтобы стрелять, сколько для поэзии. Идет впереди, заложив руки за спину, любитесь, напевает что-нибудь – особенно в последнее время часто напевать стал. А за ним на почтительном расстоянии, шагах в десяти, камердинер с ружьем. Если захочется графу выстрелить – подзовет камердинера и возьмет ружье. Птица, конечно, ждать этого не станет, а услышав графское пение, сразу отправляется куда-нибудь, где поспокойнее, – ну да это значения не имело.

И вот поднял граф голову и залюбовался на дикого голубя, как тот кружится в золотом солнечном столбе.

– Словно Святой Дух. Иезусь Мария!

И не успел он договорить этих слов, как получил ужасающий толчок в спину, так что отлетел на несколько шагов, и в то же мгновение рухнуло за ним огромное дерево. Это камердинер спас его, а то быть бы ему раздавленным, как бедная его кривобокая панночка, старшая грабянка. А камердинер потом рассказывал, что, если бы граф не произнес имени божьего, все равно бы его убило, и оттолкнуть бы его не успеть.

Опять зашептали:

– Лешачиха! Лешачиха!

Что за проклятый такой лес, что деревья людей убивают?

Графу ногу зашибло несильно, но испугался он ужасно. Белый стал, как бумага, весь дрожал и сам идти не мог. Тащил его камердинер на плечах, а там уже люди увидели, помогли.

Лешачиха, говорят, у окна стояла и видела, как его внесли, но навстречу не выбежала и только уже поздно ночью спустилась вниз и, тихо отворив дверь, вошла в комнату отца.

Что там было – никто не знает. Только так до утра они и пробыли вместе.

А утром послал граф с нарочным большое, тяжелое письмо молодой панночке Янине и при письме одну розу. И еще послал коляску в местечко за нотариусом, и долго они с нотариусом что-то писали; потом говорили, как будто он добрую часть имения отписал на управляющею дочку. А Лешачиха все время в комнате была и от графа не отходила.

А на другое утро подали дорожную карету и бричку для вещей, и вышел старый граф с дочкой, с Лешачихой. И все заметили, что граф был белый как мел и голова у него тряслась. Лешачиха его под руку вела. А у самой у нее за одну ночь лицо ссохлось – только брови да усы.

Сели они оба в карету и уехали.

Кучер потом врал, будто граф всю дорогу молчал, а Лешачиха плакала. Ну да этому, конечно, никто не поверил. Разве может Лешачиха плакать? Даже смешно!

Поздней осенью по дороге на вокзал проезжали мы мимо графской усадьбы.

Парк стал прозрачным и холодным. Через голые сучья просвечивал дом с забеленными ослепшими окнами.

На веревке, протянутой между строгих колонн подъезда, висели какие-то шубы.

Островок посреди пруда, облезлый и мокрый, казалось, наполовину затонул.

Я искала глазами лебедя...